

2

Своеобразная стилистическая манера Аввакума, крайний субъективизм его сочинений неразрывно связаны с теми мучительными обстоятельствами его личной жизни, в которых осуществлялось его писательское «страдничество». Как уже было отмечено, большинство произведений Аввакума было написано им в Пустозерске в том самом «земляном гробу», в котором он просидел последние пятнадцать лет своей жизни. Здесь, кроме его знаменитого «Жития», им было написано свыше шестидесяти различных сочинений: «слов», толкований, поучений, челобитных, писем, посланий, бесед. Все это обилие выраженных в разнообразных жанрах разных тем со всеми отразившимися в них жгучими запросами, волнениями, тревогами, объединено чувством надвигающегося конца. Все эти сочинения писались Аввакумом тогда, когда над ним уже была занесена рука смерти, когда над ним и в его собственных глазах, и в глазах его приверженцев уже мерцал ореол мученичества.

Литературные взгляды Аввакума в значительной мере определены этим его положением. Перед лицом мученичества и смерти он чужд лжи, притворства, лукавства. «Прости, Михайлович-свет,— писал он царю,— любо потом умру, да же бы тебе ведомо было, да никак не лгу, ни притворяясь, говорю: в темнице мне, яко во гробу, что надобна? Разве смерть! Ей, тако». «Ей, не лгу», «невозможно богу солгати» — такими страстными заверениями в правдивости своих слов полны его писания.

«Миленькие мои! Я сижу под спудом-тем засыпан. Несть на мне не нитки, токмо крест с гайтаном, да в руках чотки, чем от бесов борюся». Он «живой мертвец», он «жив погребен» — ему не пристало дорожить внешнею формою своих произведений: «Ох, светы мои, все мимо идет, токмо душа вещь непременно»; «дыши тако горящею душею: не оставит тя бог». Вот почему писать надо без мудрований и украс: «сказывай небось, лише совесть крепку держи». Вот почему Аввакум дерзает на все, нарушает все литературные традиции, презирает всякую украшенность речи и стремится к правде до конца: лишь «речь бы была чиста, и права, и непорочна».

Искренность чувств — вот самое важное для Аввакума: «не латинским языком, ни греческим, ни еврейским, ниже иным коим ищет от нас говоры господь, но любви с прочими добродетельми хочет; того ради я и не брегу о красноречии и не уничижаю своего языка русскаго». В этой страстной проповеди искренности Аввакум имел литературный образец — исполненные простоты проповеди того самого аввы Дорофея, писателя VI в., которого неоднократно издавали именно в XVII в. и у нас (трижды в Москве в 1652 г.), и за границей (четырежды на латинском и пять раз на французском языке) и которого поучение «о любви» приводит Аввакум в предисловии к третьей редакции своего «Жития». «Елико бо соединяется кто искреннему, толико соединяется богови», «поелику убо есмы вне и не любя бога, потолику имамаы отстояние каждо ко искреннему. Аще ли же возлюбим бога, елико приближаемся к богу любовию, яже к нему, толико соединяемся любовию к ближнему, и елико соединяемся искреннему, толико соединяемся богу», — цитирует Аввакум. Пример Дорофея побудил Аввакума и приняться за описание собственного «жития»: «Авва Дорофей описал же свое житие ученикам своим... и я такожде сказываю вам деемая мною...»

«Красноглаголение» губит «разум», т. е. смысл речи. Чем проще скажешь, тем лучше: только то и дорого, что безыскусственно и идет непосредственно от сердца: «воды из сердца добывай, елико мочно, и поливай на нозе Исусове».

Ценность чувства, непосредственности, внутренней, душевной жизни была провозглашена Аввакумом с исключительной страстностью; «я ведь не богослов,— что на ум попало, я тебе то и говорю», «писано моею грешною рукою сколько бог дал, лучше того не умею» — такими постоянными заверениями в своей безусловной искренности полны произведения Аввакума. Даже тогда, когда внутреннее чувство Аввакума шло в разрез с церковной традицией, когда против него говорил властный пример церковных авторитетов,— все равно Аввакум следовал первым побуждениям своего горячего сердца. Сочувствие или гнев, брань или ласка — все спешит излиться из-под его пера. Пересказав притчу о богатом и Лазаре, Аввакум не хочет назвать богатого «чадом», как назвал его Авраам: «Я не Авраам, не стану чадом звать: собака ты... Плюнул бы ему в рожу ту и в брюхо то толстое пнул бы ногою».

Неоднократно повторяет Аввакум, что ему опостылело «сидеть на Моисеевом седалище», т. е. быть церковным законодателем — разъяснять своим единомышленникам канонические вопросы, в изобилии вызванные церковными раздорами: «по нужде ворьчу, понеже докучают. А как бы не спрашивали, я бы и молчал больше». И разъяснения, даваемые Аввакумом, отличаются непривычной для XVII в. свободой: все хорошо перед богом, если сделано с верою и искренним чувством; он разрешает крестить детей мирянину, причащать самого себя и т. д. Вступая в спор с «никонианами» из-за обрядовых мелочей, Аввакум делает это как бы через силу и торопится отвести эту тему: «Да полно о том беседовать: возьми их чорт! Христу и нам оне не надобны». Он ненавидит не новые обряды, а Никона, не «никонианскую» церковь, а ее служителей. Он гораздо чаще взывает к чувствам своих читателей, чем к их разуму, проповедует, а не доказывает. «Ударить душу перед богом» — вот единственное, к чему он стремится. Ни композиционной стройности, ни тени «извития словес», ни привычного в древнерусской учительной литературе «красноглаголения» — ничего, что стесняло бы его непомерно горячее чувство. Он пишет, как говорит, а говорит он всегда без затей, запальчиво: и браня, и лаская.

Тихая спокойная речь не в природе Аввакума. Сама молитва его часто переходит в крик. Он «кричит воплем» к богу, «кричит» к богородице. «И до Москвы едучи, по всем городом и по селам, во церквах и на торьгах кричал, проповедавая слово божие». Все его писания — душевный крик. «Знаю все ваше злохитрство, собаки... митрополиты, архнепископы, николяне, воры, прелагатаи, другия немцы руския» — такой тирадой криком разражается он в своем «рассуждении» «о внешней мудрости».

Брань, восклицания, мольбы пересыпают его речь. Ни один из писателей русского средневековья не писал столько о своих переживаниях, как Аввакум. Он «тужит», «печалится, плачет, боится, жалеет, дивится» и т. д. В его речи постоянны замечания о переживаемых им настроениях: «мне горько», «грустно гораздо», «мне жаль»... И сам он, и те, о ком он пишет, то и дело вздыхают и плачут: «плачють миленькие глядя на нас, а мы на них», «умному человеку поглядеть, да лише заплакать на них глядя», «плачючи кинулся мне в карбас», «и все плачют и кланяются». Подробно отмечает Аввакум все внешние проявления чувств: «ноги задрожали»;

«сердце озябло». Так же подробно описывает он поклоны, жесты, молитвословия: «бьет себя и охает, а сам говорит...», «и он, поклонясь низенко мне, а сам говорит: спаси бог».

Речь Аввакума глубоко эмоциональна. Он часто употребляет и бранные выражения, и ласкательные, и уменьшительные формы: «дворишко», «кафтанишко», «детки», «батьюшко», «миленький», «мучка», «хлебец», «коровки да овечки», «сосудец водицы» и даже «правильца», т. е. церковные правила. Он любит называть своих собеседников ласкательными именами и остро чувствует, когда так называют и его самого. Когда «гонители» называли его «батьюшко», Аввакум отметил это с иронией: «Чюдно! давеча был блядин сын, а топерва батьюшко!»

Круг тем и настроений в сочинениях Аввакума ничем не ограничен: от богословских рассуждений до откровенного описания физиологических отклонений человеческого организма. Но к каждой теме он подходит с неизменным эгоцентризмом. Личное отношение пронизывает все его изложение, составляя самую суть его: все повествование Аввакума объединено его личностью. Под действием этого субъективизма по-новому осмысливаются и конкретизируются традиционные образы средневекового сознания. Аввакум все сопоставляет со случаями из собственной жизни. Вот как, например, он объясняет евангельские слова: «будьте мудры, как зми, и просты, как голуби» (Матфея X, 16). Змеи мудры потому, что прячут голову, когда их бьют: «я их бивал с молада-ума. Как главы-то не разобьешь, так и опят оживет», а голубь незлобив, так как, потеряв гнездо и птенцов, не гневается, а вновь строит гнездо и заводит новых птенцов: «я их смолода держал, поповичь я, голубятник был».

Свою речь Аввакум называет «вяканием», свое писание «ковырянием», подчеркивая этим безыскусственность своих сочинений. Он пишет как бы беседуя, обращаясь всегда не к отвлеченному, а к конкретному читателю так, как будто бы этот читатель стоит здесь же, перед ним: «Досифей, а Досифей! Поворчи, брате, на Олену-ту старицу: за что она Ксенью-ту, бедную, Анисьину сестру, изгоняет?» Иногда Аввакум ведет свою беседу одновременно с несколькими лицами, переводя речь от одного собеседника к другому: «Возьми у братьи чотоки мое — благословение себе», и обращается тут же к тем, кто должен отдать чотки: «Дайте ему, Максим с товарищи, и любите Алексея, яко себя».

Аввакум тяготится тем, что беседа его не полна, одностороння, что собеседник его молчит, не отзываясь на его обращения: «Ну, простите, полно говорить; вы молчите, ино и я с вами престану говорить!» Однажды в своем «Житии», рассказав о том, как он с женою и детьми обманул казаков, спрятав от них чем-то провинившегося «замотая», — Аввакум не выдержал — его мучает совесть — нет ли греха в таком обмане — и он оставил в рукописи несколько чистых строк для ответа своему читателю. Чужою рукою (видимо, его союзника Епифания) вписан ответ: «Бог да простит тя и благословит в сем веце и в будущем, и подружню твою Анастасию и дщерь вашу и весь дом ваш. Добро сотворили есте и праведно. Аминь». Вслед за этими словами снова начал писать обрадованный Аввакум: «Добро, старец, спаси бог на милостыни! Полно тово». Так «Житие» превратилось в данном эпизоде в подлинную беседу. Но Аввакум прибег к такому способу изложения лишь один раз: он не сделал из него литературного «приема».

Как человек, свободно и бесхитростно беседующий с друзьями, Аввакум говорит иногда то, что «к слову моылось» (молвилось); он часто прерывает самого себя, просит прощения у читателя, нерешительно высказывает свои суждения и берет их иногда назад. Например, в одном из своих писем он просит «отцов поморских» прислать ему «гостинец какойнибудь; или ложку или ставец, или ино что», но затем, как бы одумавшись, отказывается от своей просьбы: «али и у самих ничего нет, бедные батюшки мои? Ну, терпите Христа ради. Ладно так! Я веть богат: рыбы и молока много у меня».

Своими собеседниками Аввакум ощущает не только читателей, но и всех, о ком он пишет. Пишет ли он о Никоне, о Пашкове, о враге или друге, — он обращается к каждому с вопросами, насмешками, со словами упрека или одобрения. Даже к Адаму он обращается как к собеседнику: «Что, Адам, на Еву переводишь?» (т. е. сваливаешь вину). Он беседует и с человеческим родом: «Ужжо, сердечные, умяхчит вас вода», взывает к Руси: «ох, ох, бедныя! Русь, чего-то тебе захотелось немецких поступков и обычаев?» Даже дьявола он делает своим собеседником: «Добро ты, дьявол, вздумал».

Форму свободной и непринужденной беседы сохраняет Аввакум повсюду. Его речь изобилует междометиями, обращениями: «ох горе!», «ох, времени тому», «увы грешной душе», «чюдно, чюдно» и т. д. Его изложение, как живая речь, полно недомолвок, неясностей, он как бы тяготеет своим многословием, боится надоесть читателю и торопится кончить: «да что много говорить?», «да полно тово говорить», «много о тех кезнях говорить!», «тово всего много говорить» и т. д. Отсюда спешащий и неровный темп его повествования: все излить, все высказать, ничего не утаить, быть искренним до конца — вот к чему он стремится. И Аввакум торопится выговориться, освободиться от переполняющих его чувств. Картины сменяются одна другой, образы нагромождаются и растут, восклицания и обращения врываются в беспорядочный поток его рассказа, сомнения и колебания — в поток его чувств и переживаний.

В своем презрении к «внешней мудрости», к правилам и традициям письма он последователен до конца. Он пишет, действительно, так, как говорит, и с почти фонетической точностью воспроизводит особенности своего нижегородского произношения. Надо было обладать исключительным чувством языка, чтобы так начисто отбросить от себя все условности орфографии и письменной традиции, заменив их воспроизведением на письме устной речи.

Казалось бы свобода формы сочинений Аввакума безгранична: он не связывает себя никакими литературными условностями, он пишет обо всем — от богословских вопросов до бытовых мелочей; высокие церковнославянизмы стоят у него рядом с площадной бранью. Но тем не менее в его своеобразной литературной манере есть кое-что и от русского средневековья. Он любит подкреплять свои мысли цитатами из церковных авторитетов, хотя выбирает цитаты наиболее простые и по мысли и по форме — «неукрашенные». Он приводит на память тексты Маргарита, Пален, Хронографа, Толковой Псалтыри, Азбуковника, он знает по Четьям-Минеям жития святых, знаком с «Александрией», «Историей Иудейской войны» Иосифа Флавия, с повестью о белом клобуке, со сказанием о Флорентийском соборе, с повестью об Акире, с «Великим Зерцалом», с летописью и повестью о Николе Зарайском и другими памятниками.

В переписке Аввакума есть эпизоды, как бы овеянные «простою вымысла» хорошо известного ему Киево-Печерского патерика. Принес Аввакуму «добрый человек» из церкви просвиру. И думал Аввакум, что просвира эта — настоящая, освященная по старому обряду. Он поцеловал ее и положил в уголку. Но с той поры стали каждую ночь наездываться к Аввакуму бесы. Они то завернут Аввакуму голову так, что он едва может вздохнуть, то вышибут из рук чотки во время молитвы, а однажды ночью, точь в точь как в Киево-Печерском патерике с Исакнем, «прискочиша» к Аввакуму «множество бесов и един бес сел з домрою в углу, на месте, где до того просвира лежала, и прочин начаша играти в домры и гутки. А я слушаю. И зело мне грустно...» Только после того как Аввакум съел просвиру, бесы перестали докучать ему. «Видишь ли, Маремьяно,— пишет Аввакум,— как бы съел просвиру-ту, так бы что Исакия Печерскаго затомили». Аввакум не скрывает сходства с Киево-Печерским рассказом, оно и самому ему кажется удивительным, и тем достигает впечатления полной непосредственности заимствования.

Несмотря на всю свою приверженность к воспоминаниям, к житейским мелочам, к бытовой фразеологии,— Аввакум не просто бытописатель. Средневековый характер его сочинений сказывается в том, что за бытовыми мелочами он видит вечный, непреходящий смысл событий. Все в жизни символично, полно тайного значения. И это вводит «Житие» Аввакума в круг традиционных образов средневековья. Море — жизнь; корабль, плывущий по житейскому морю,— человеческая судьба; якорь спасения — христианская вера и т. д. В эту систему образов включается и стиль «Жития». Но для Аввакума нет абстрактных символов и аллегорий. Каждый из символов для него не отвлеченный знак, а конкретное, иногда до галлюцинаций доходящее явление — видение. Однажды ночью, на молитве, еще до начала своих мытарств, увидел Аввакум видение — два золотых корабля своих духовных детей, Луки и Лаврентия, и свой собственный корабль: «не златом украшен, но разными пестротами,— красно, и бело, и сине, и черно, и пепелесо,— его же ум человек не вмести красоты его и доброты». «И я вскричал: чей корабль?» Сидевший на корабле кормчий «юноша светел» ответил: «твой корабль, на, плавай на нем з женою и детми, коли докучаешь! И я вострепетах и седше разсуждаю: что се видимое? и что будет плавание?»

Это «видение» освещает внутреннюю значительностью все начавшееся с этой поры превратности судьбы Аввакума. Отправляясь в изгнание, он вспоминает тот же корабль: «Таже сел опять на корабль свой, еже и показан ми...» С этим «кораблем» связана целая система образов. «Четвертое лето от Тобольска плаванию моему», — говорит он о времени своего изгнания. «Грести надобно прилежно, чтоб здорово за дружиною в пристанище достигнуть». Невзгоды — бури на этом житейском море: «дьявол паки воздвиг на мя бурю», «ин начальник воздвиг на мя бурю» и т. д. Так церковный символ превращается у Аввакума в конкретное «видение» и насыщает собою все «Житие» от начала до конца. Можно предпологать, что обильно встречающиеся в «Житии» реальные сцены плаванья Аввакума на дощанике, на карбасе и т. д. привлекали его внимание именно потому, что они ассоциировались в его сознании все с тем же церковно-библейским символом корабля.

Церковная символика и народная поэзия всех народов знает образ души-птицы. С особой силой воображения, с большой остротой сочувствия

Аввакум как бы видел действительно душу, освободившуюся от уз человеческого тела,—птицу. Душа человека после его смерти, писал Аввакум,— «туды ж со ангелы летает, равно яко птичка попархивает, рада — из темницы той вылетела». И так всегда и во всем: Аввакум видит то, о чем пишет, и никогда не пишет о том, что им не прочувствовано и не узнано, как свое, близкое ему.

С той же системой церковно-библейской символики связан у Аввакума и излюбленный им образ странничества, пронизывающий «Житие» рядом связанных с ним метафор. Но и образ странничества, и эти вытекающие из него метафоры для Аввакума так же конкретны, как и символы корабля и души-птицы. Аввакум рассказывает, как в Сибири, в изгнании, зимой они брели с семьей по снежной пустыне. «Протопопица бедная бредет-бредет, да и повалится». Пали и их спутники. «Долго ли муки сея, протопоп, будет?» — спрашивает Аввакума жена. «Марковна, до самыя смерти!» Она же, вздохня, отвечала: добро, Петровичь, ино еще побредем». Символическое значение этой сцены осторожно раскрыто Аввакумом только в этих последних словах сурового протопопа и его верной жены: всю жизнь они бредут и будут брести до самой смерти.

Все в жизни Аввакума полно для него тайной значительности, в ней нет для него ничего случайного. Истинность изображаемого им «дела божия» подкреплена многочисленными «видениями» и чудесами. В трудные часы жизни Аввакуму не раз «является» на помощь ангел; в него не стреляет пищаль; за нападение на него виновный наказывается внезапной болезнью; Аввакум исцеляет от недугов, изгоняет бесов, по его молитве расступается покрытое льдом озеро и т. д. Все эти житийные шаблоны переданы, однако, Аввакумом не в отвлеченной средневековой манере, а жизненно-конкретно. Быт и средневековая символика слиты в произведениях Аввакума нераздельно.

Аввакум не только приводит библейские символы для истолкования обстоятельств своей жизни, но и, наоборот, личными воспоминаниями, бытовыми реалиями, отчетливо нарисованными с натуры картинами толкует и оживляет библейские образы. Библейская история переводится им в чисто бытовой план, снижается до того конкретного «видения», в порыве которого Аввакум увидел и свой ярко раскрашенный всеми жизненными цветами «корабль моря житейского». Вот приводит Аввакум текст книги «Бытия» (III, 6—7): «И вкусиста Адам и Ева от древа, от него же бог заповеда, и обнажистася» — и затем конкретизирует этот рассказ таким образом: «О, миленькие! одеть стало некому; ввел дьявол в беду, а сам и в сторону. Лукавой хозяин накормил и напоил, да и з двора спехнул. Пьяной валяется на улице, ограблен, а никто не помилует. Увы, безумия и тогдашнева и нынешнева».

Библия для Аввакума — это только повод сравнить «нынешнее безумие» с «тогдашним». Любой библейский эпизод он вводит в круг интересующих его современных проблем. Ссылка, например, Адама на Еву в ответе на вопрос бога — «кто сказал тебе, что ты наг», — толкуется Аввакумом так: «Просто молить: на што-де мне дуру такую зделал? Сам неправ, да на бога пеняет. И ныне похмельные, тоже шпыняя, говорят: на што бог и сотворил хмель-ет, весь-де до нага пропился, и есть нечева, да меня жь-де избил всево; а иной говорит: бог-де ево судит, упоил до пьяна: правится бедной, бытто от неволи так зделалось. А безпрестанно товещет и желает; на людей переводит, а сам где был?»

Даже обычные средневековые риторические выражения Аввакум ощу-

щает с необычайною силою чувства конкретности. Они превращаются у него в живые явления, почти овеществляются. Вот, например, ходячее выражение средневекового витийства — «всенадежное упование». И вот как конкретно представляет его себе Аввакум в «увещании о самосожжении»: «Не бось, не покинет и вас сын божий,— обращается он к «бедным русачкам»-самосожженцам,— дерзайте, всенадежным упованием таки размахав, да и в пламя».



Все творчество Аввакума проникнуто резким автобиографизмом. Автобиографичны все его сочинения — от «Жития» до богословских рассуждений и моральных наставлений и толкований. Все в его сочинениях пронизано и личным отношением, и личными воспоминаниями. В своем стремлении к предельной искренности и откровенности он пишет прежде всего о том, что касается его самого и его дела.

Он презирает всякие внешние ценности, даже и ту самую церковную обрядность, которую он так фанатически отстаивал: «крюки-те в переводах-тех мне не дороги и ненайки-те песенные не надобе ж». Над боярством он иронизирует, царский титул комически искажает. Разум, людская мудрость, людские установления — все то лишь «своеумные затейки». «Бог разберет всякую правду и неправду. Надобно лишь потерпеть за имя его святое».

Он преисполнен иронии ко всему, смотрит на все как человек, уже отошедший от мира. «Не прогневайся, государь-свет,— пишет он царю,— на меня, что много глаголю: не тогда мне говорить, как издохну». Своих единомышленников-мучеников он сравнивает с комарами и «мушицами»: «елико их болши подавляют, тогда болше пищат и в глаза лезут»; своих детей он называет ласково «кобельками», самого себя сравнивает с «собачкой»: «что собачка в соломе лежу на брюхе».

Но, несмотря на крайний автобиографизм его творчества, в этой все уничтожающей беспощадной иронии нет индивидуализма. Все происходящее за пределами его «земляного гроба» полно для Аввакума жгучего интереса. В наиболее личных своих переживаниях он чувствует себя связанным со своими читателями. Он близок ко всем, его чувства понятны. В малом и личном он находит великое и общественное. Сама личность Аввакума привлекла читателей чем-то близким, своим. И этим настоящим прочным мостом между Аввакумом и его читателями было живое чувство всего русского, национального. Все русское в жизни, в повседневном быту, в языке — вот, что радует Аввакума, что его живит, что он любит и во имя чего борется. И речь Аввакума — его «ковыряние» и «вяканье» — это русская речь; о ее национальном характере Аввакум заботится со всею страстностью русского человека; ее резкие национальные особенности перекрывают все ее индивидуальные признаки.

Он взывает к национальному чувству своих читателей. «Ты ведь, Михайлович, русак», — обращается он к царю; «не позазрите просторечию нашему, понеже люблю свой русской природной язык». Аввакум восстает против того, что «борзой кобель» Никон «устраивает все по фряжьскому, сиречь по неметцкому», что Спасов образ пишут так, что Спас выглядит, «яко немчин брюхат и толст», что русского Николу начинают звать на немецкий лад Николаем. «Хоть бы одному кобелю голову-ту назад рожою заворотил, да пускай бы по Москве-той так ходил», — обращается он к Николе.

Но «руссизм» языка Аввакума не нарочит. Он не заимствует намеренно из фольклора, как это было принято в книжности XVII в., близкой к посадку; он не цитирует песен, былин. Несмотря на все его пристрастие к просторечию, в его языке не так уж часты и пословицы (едва ли их наберется больше двух десятков). Но то, что язык его русский в самой своей глубокой основе, читатель чувствует с предельной силой.

Исключительно русский характер его речи создается самым мастерством владения им русским языком: его широким словарем, гибкостью грамматики, какою-то особенною свободой и смелостью введения в письменный язык форм устной речи, чутьем самого звучания слова, близостью речи к русскому быту. Руссизм языка Аввакума нерасторжимо связан, кроме того, и с его чисто русским юмором — балагурством, понижающим все его сочинения: «я и к о б е д н е не пошел и о б е д а т ь ко князю пришел»; «книгу к о р м ь ч и ю дал прикащику и он мне мужика к о р м щ и к а дал»; «вот вам и б е з с м е р т и с м е р т ь»; «грех ради моих суров и бесчеловечен человек» и т. д.

Глубоко национальный русский характер творчества Аввакума не только разрывал узкий круг личных эмоций его, не только давал огромную общественную силу его писаниям и перекидывал мост между ним и его тогдашними читателями: несмотря на всю чуждость его учения современности, этот отчетливо русский характер писаний Аввакума продолжает привлекать к нему и современного читателя. Тот же «руссизм» творчества Аввакума возбуждает интенсивный интерес к нему и иностранных читателей и исследователей. Несмотря на все трудности перевода такого своеобразного писателя, сочинения Аввакума издаются во французском переводе (несколько раз), на английском (1924) и на немецком языках (1930).



Крайний консерватор по убеждениям, Аввакум был явным представителем нового времени. Да и всегда ли таким последовательным консерватором оставался Аввакум и по своим убеждениям? Его староверству предшествовал период его участия в церковном реформаторстве: Аввакум, Неронов, Вонифатьев были правщиками книг прежде, чем стали бороться против исправлений Никона. Аввакум изгонял многогласие из церковного пения и воскресил древний обычай церковной проповеди, забытой уже в течение целого столетия. Прежде чем пострадать за старину, Аввакум страдал за «новизны»: именно за них — за непривычные морально-обличительные проповеди — били его прихожане в Юрьевце. Но больше всего новизны в резко индивидуальной манере его писаний.

XVII век в русской истории — век постепенного освобождения человеческой личности, разрушившего старые средневековые представления о человеке только как о члене корпорации — церковной, государственной или сословной. Сознание ценности человеческой индивидуальности, развитие интереса к внутренней жизни человека — таковы были те первые проблески освобожденного сознания, которые явились знаменем нового времени.

Интерес к человеческой индивидуальности особенно характерен для второй половины XVII в. В 60-х годах дьяк Грибоедов пишет историю для детей, где дает психологические характеристики русских царей и великих князей. В те же годы появляется «Повесть о Савве Грудцыне», с центральной ролью, принадлежащей «среднему» неизвестному человеку. В этом произведении все внимание читателя приковано к внутренней жизни человека и к его личной судьбе.

Но даже в ряду всех этих фактов личность и деятельность Аввакума — явление исключительное. В основе его религии, проповеди, всей его деятельности лежит человеческая личность. Он борется, гневается, исправляет нравы, проповедует, как властный наставник, а не как святой — аскет прежних веков. Свою биографию Аввакум излагает в жанре старого «жития», но форма жития дерзко нарушена им. Аввакум пишет собственное житие, описывает собственную жизнь, прославляет собственную личность, что казалось бы верхом греховного самовосхваления в предшествующие века. Аввакум вовсе не считает себя обыкновенным человеком. Он и, в самом деле, причисляет себя к святым и передает не только факты, но и «чудеса», которые считал себя способным творить. Как могла притти подобная мысль — описывать собственную святость — русскому человеку XVII в., воспитанному в традициях крайнего религиозного смирения? Эгоцентризм жития Аввакума совершенно поразителен. Нельзя не видеть его связи с тем новым для русской литературы «психологизмом» XVII в., который позволил Аввакуму не только подробно и ярко описывать собственные душевные переживания, но и найти живые краски для изображения окружающих его лиц: жены, воеводы Пашкова, его сына, казаков и других.

Все творчество Аввакума противоречиво колеблется между стариной и «новизнами», между догматическими и семейными вопросами, между молитвой и бранью... Он всецело находится еще в сфере символического церковного мировоззрения, но отвлеченная церковно-библейская символика становится у него конкретной, почти видимой и осязаемой. Его внимание привлекают такие признаки национальности, которые оставались в тени до него, но которые станут широко распространенными в XIX и XX вв. Все русское для него прежде всего раскрывается в области интимных чувств, интимных переживаний и семейного быта. В XV—XVI вв. проблема национальности была нерасторжимо связана с проблемами государства, церкви, официальной идеологии. Для Аввакума она также и факт внутренней, душевной жизни. Он — русский не только по своему происхождению и не только по своим патриотическим убеждениям: все русское составляло для него тот воздух, которым он дышал, и пронизывало собою всю его внутреннюю жизнь, все чувства. А чувствовал он так глубоко, как немногие из его современников накануне эпохи реформ Петра I, хотя и не видел пути, по которому пойдет новая Россия.